

Георгий Михайловский

## Письма с Белого моря



Немало поглазав, поездив и полетав по свету, я, к удивлению своему, понял, что на нашей планете не так уж много мест, где хотелось бы пожить. Не побывать, не поглазеть, не отдохнуть и расслабиться, а именно пожить, поработать, вращи корнями и почувствовать, что ты — дома. Конечно, у каждого человека есть свои такие места. Одни влюблены в проселки своего детства, другие мечтают об экзотических странах, третьи не помышляют ни о чем, кроме своего микрорайона... Для меня таких мест три. Это Иркутск, Веллингтон (столица Новой Зеландии) и Черная Река, старинная поморская деревня на берегу Белого моря. И если бы случилось выбирать между ними, я не задумываясь выбрал бы последнее.

Впервые я попал в те места больше тридцати лет назад, в 1963 году, и с тех пор провожу там почти каждое лето. Более того, мне довелось прожить там с семьей почти три года подряд, работая в Беломорской экспедиции Московского университета, и понять кое-что из того,

что недоступно пониманию приезжающих на лето визитеров. Иногда хотелось поделиться своими мыслями и удивительными историями, случившимися со мной или услышанными от местных жителей. И тогда я писал письма в Москву своим друзьям или своей любимой жене в тех редких случаях, когда она не могла поехать со мной.

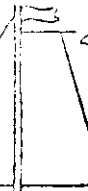
Вот некоторые из них. Я не стал располагать их в хронологическом порядке, не стал даже приводить даты, ибо само время в тех краях воспринимается совершенно иначе. И все эти случайно вырванные страницы тридцати последних лет моей биографии плохо раскладываются по порядку. Их хочется читать наугад и безо всякой связи, пока не почувствуешь себя там, где под соленый на вкус, где летний день тянется три месяца, где в сутках двенадцать часов, а Полярный круг проходит сразу за околицей...

Белые острова

Любимая!

Пишу тебе в маленькой, топящейся по-черному поморской избушке, застигнутый штормом в середине пролива Великая Салма на Белых островах. К утру ветер стих, натянуло тучи и пошел дождь. Он мерно барабанит по дощатой крыше, а в очаге из дикого камня уютно потрескивают дрова и урчит, собираясь закипеть, старый закопченный чайник. Поднимающийся из очага дым скапливается под потолком, не успевая уйти сквозь специально открытую дыру. Но под окном на время топки открываются продушины, благодаря которым внизу воздух совершенно чистый, и, сидя за столом, не ощущаешь даже запаха дыма. Стоит, однако, встать с нар, и голова оказывается в густом сизом дыму. Теряется не только способность дышать, но и всякая ориентировка. Так усваиваешь первое правило жителя курной избы: хочешь встать — дожись, пока прогорит.

Сейчас шторм кончился, и только крупная зыбь, пришедшая с северо-востока, накатывает свои безукоризненно ровные, как на параде, и столь же безликие серые



шеренги. Эти валы, почти незаметные вдали от берега, а на мелководье вырастающие водяными холмами, разбиваются о немислимо древние, насчитывающие даже не миллионы, а миллиарды лет, базальты и стекают по ним, путаясь в лабиринте трещин и процеживаясь сквозь них с чавканьем, причмокиванием, а порой и сердитым ворчанием. Кажется, будто в скалах вздыхает, ворочается и недовольно рычит разбухшее накатом неведомое существо.

А это всего-навсего Белое море. Море, которое мы с тобой успели так полюбить.

Помнишь, как ты сначала спрашивала меня, почему его называют белым? Этот вопрос задают практически все, попавшие сюда впервые. А ты к тому же, перечитывая тогда «Моби Дика», наткнулась в главе «О белизне кита» на странную фразу: «Почему, невзирая на долготы и широты, Белое море оказывает на наши души такое потустороннее влияние...?»

Поэтому не только белизна, но и потусторонность этого моря волновала твоё воображение. Теперь ты уже нашла ответ. Но тогда я не смог тебе сказать почти ничего. Ну в самом деле, что тут ответишь, когда в шторм Белое море стальное, на солнце летом — голубое, зимой же в полынях между полупрозрачными голубовато-зелеными торосами — темно-синее, а в облачную погоду оно, как и всякое море, которых я повидал не один десяток, становится серым. Бывает оно и бледно-зеленым тихими июньскими вечерами, и даже пурпурно-красным, когда в полный штиль в нем отражается полуночный закат, плавно переходящий в рассвет.

И все-таки оно — белое!

Эта удивительная, неожиданно возникающая белизна каждый раз ошеломляет, как прикосновение к чуду. Вот и сегодня, когда дождь перестал и тучи, как стянутое одеяло, сбились где-то у горизонта, обнажив предрассветное августовское небо, я спустился к своей моторке за банкой консервов для завтрака, Белое море полностью оправдало свое таинственное название. Несмотря на тяжелую зыбь и порождаемые ею сердитые звуки, стояла заколдованная тишина. Не шевелились даже листья осин, столь приемистые к самому слабому ветерку. Даже крикливые чайки стихли и мерно покачивались на пологих волнах. Очистившееся небо, освещаемое скрытым за горизонтом полярным солнцем, было белым, и эта его белизна хлынула в море, начисто смыв линию горизонта. И не осталось ни неба, ни моря, вернее, было и то и другое, но как единое, нерасчленимое целое. И казалось — стоит направить моторку в безбрежную светлую даль, и спустя час-другой, когда берега растают в предрассветной дымке, обнаружишь себя бороздящим уже не море, а небо, над которым раскинет свои просторы белое Белое море.

Был в нем и ответ на второй твой вопрос, о потусторонности. Ведь потусторонность — это всегда бытие «по ту сторону». По ту сторону Добра и Зла, которые взаимодействуют с переменным успехом в нашем, посюстороннем мире. А здесь, в этой поглощающей белизне, была стерта извечная грань между воздухом и водой, между верхом и низом, между Небесами и Преисподней.

Вряд ли Герман Мелвилл, написавший ту загадочную фразу о потустороннем влиянии Белого моря, бывал в этих краях. Просто ему удалось обнаружить глубинные архетипы нашего подсознания, связывающие белизну, заключающую в себе все цвета спектра, с размытием граней между противоположностями. Его белый кит, Моби Дик, находится по ту сторону Добра и Зла, а для капитана Ахава, посвятившего всю свою жизнь уничтожению Моби Дика, он — олицетворение Мирового Зла. И в этом неразрешимая трагедия капитана.

Нам с тобой повезло гораздо больше, чем Мелвиллу. Нам довелось не просто увидеть Белое море, главное — мы видели его белизну. А кто хоть раз видел Белое море таким, тот уже никогда не спросит, почему люди, жившие здесь раньше, дали ему такое название...

*Дер. Нильма-губа, здание бывшей школы*

Дорогие друзья!

Вот я и опять на Белом море. Живу в карельской деревне, в бывшей школе. Работаю в экспедиции Московского университета. Хожу в море, отбираю планктонные пробы, а потом просчитываю их, проводя за микроскопом долгие часы.

Отбирать пробы — занятие приятное. Ты берешь планктонную сеть, сшитую в виде конуса из очень мелкой капроновой сеточки, натянутого на металлические ободья, привязываешь к ней груз и опускаешь на капроновом шнуре в море на тридцать метров.

Потом медленно вытягиваешь, и вода фильтруется через сеть, а весь планктон, то есть крошечные водоросли, рачки, медузы, моллюски и прочая мелочь, живущая в толще воды, остается в сетке и тут же сливается в баночку с формалином. Формалин нужен для того, чтобы убить всю эту живность, пока она друг дружку не слопала. Кроме того, он не дает ей разлагаться, и потому пробу можно обрабатывать и через день, и через неделю, и даже через год.

Конечно, все это так просто только в хорошую погоду. Во время шторма, а шторма здесь не редкость, отбор проб превращается в почти цирковую эквилибристику: лодка уходит из-под ног, сеть рвет из рук, тебя окатывает водой с головы до ног, а баночка с формалином норовит опрокинуться и заставить тебя повторить все сначала. И все же это гораздо лучше, чем сидеть, уткнувшись в окуляры, вдыхая формалин и подсчитывая, кого и сколько удалось выловить на этот раз. Здесь уже связь с погодой обратная: чем она лучше и жарче, тем труднее усидеть за микроскопом в облаке комаров, мошки, мокреца, гнуса и прочей мерзости.

Можно, конечно, намазаться репелентом, но помогает это весьма относительно. Как говорил один мой друг, если вокруг тебя летает десять комаров, то репелент снизит это количество до одного, но если вокруг тебя пятьсот комаров, то после репелента их останется... четыреста девяносто один. Поэтому лучше не дергаться и утешаться тем, что через неделю-другую к укусам привыкаешь и они уже не вызывают волдырей, хотя и остаются столь же болезненными. Спасение только в том, чтобы залезть по шее в речку Нильму или уйти на моторке в море. Пока заводишь мотор, вся эта гнусь буквально облепляет тебя, как бы чувствуя, что жратва в твоём лице пытается улизнуть, но стоит отойти от берега, как это жужжащее и жалящее облако начинает отставать, не выдерживая конкуренции с восемью лошадиными силами подвесаго «Ветерка».

Впрочем, что это я все о себе да о себе. Вы же просили побольше писать о местных людях, их нравах и обычаях. А нравы тут действительно крутые! На свежего человека они производят порой дикое впечатление. Но причина лежит не в отсутствии у местных жителей логики или нравственного стержня, а в инаковости, несопоставимости с нашим образа их мыслей.

Тут мне вспоминается комментарий, прозвучавший на Би-би-си в конце шестидесятых, если не ошибаюсь, годов. Был период очередного охлаждения отношений между европейскими странами и Израилем, и комментатор Би-би-си объяснял это, в частности, разницей в менталитете еврея и среднего европейца, приводя в качестве примера отрывок из Талмуда.

Ей нем шла речь о том, как два крестьянина пришли к раввину, чтобы рассудить их спор из-за участка земли. Первый из них считал, что спорный участок должен принадлежать ему целиком, а второй склонялся к мысли о разделе его поровну между ними. При этом ни один из спорщиков не мог представить каких-либо аргументов в пользу своей точки зрения. «Как бы поступил на месте раввина европеец?» — риторически спрашивал комментатор. Наверное, не имея никакой дополнительной информации, он разделит бы спорную землю пополам, и моральное преимущество в его глазах получил бы второй крестьянин, который предлагал именно такой вариант, а не первый — хапуга, стремящийся урвать все.

Однако Талмуд рекомендует нечто совсем иное. Решение раввина, приведенное там, поражает, на первый взгляд, своей немотивированностью: первому крестьянину надлежит отдать три четверти спорного участка, а второму — одну четверть. Но дальше следует и обоснование, не менее поражающее своей безупречной логикой. Дело в том, — разъясняет свое решение раввин, — что половина земли вообще не является предметом спора, ибо в отношении ее оба согласны — она должна принадлежать первому крестьянину. Предметом спора является вторая половина. Ее-то и следует разделить пополам.

Логично? Более чем! Однако логика логикой, но именно менталитет народа определяет решение как в этом, так и во многих других случаях. Причем национальность здесь не всегда главное. Важнее, как мне кажется, религия, обычаи, уклад жизни. А уразумев это, уже легче воспринимаются картинки местных нравов, вроде той, что рассказали московские туристы, забредшие сюда в конце зимы и остановившиеся у одной одинокой местной бабки.

Прожили они у нее около недели и собрались двигаться дальше. А перед отходом решили сфотографировать ее на память, пообещав прислать фотографии. Вывели старушку на крыльцо, на яркое мартовское солнышко, и уже сделали пару кадров, как она вдруг засуетилась, что-то вспомнив.

— Погодите, погодите! Раз уж решили снимать, снимите меня, Бога ради, с моим Шариком, а то у меня нет ни одной его фотографии.

— Конечно! — беспечно ответила московская девушка с фотоаппаратом. — А кто он?

— Да собака моя, песик мой любимый, — радостно заулыбалась старушка.

— А где же он? — удивились москвичи, несколько озадаченные тем, что за все их недельное пребывание никакой собаки в доме им не попадалось.

— Сейчас, сейчас...

Она исчезла в сених, а через минуту вернулась, гордо неся под мышкой неестественно плоского, заиндевелого Шарика с остекленеными глазами и страшным оскалом стесанных пожелтевших зубов.

— Вот она, собачка моя дорогая! Еще в декабре околела, с тех пор на леднике держу, весны жду, земля оттает — похороню. А вот карточки ни одной с ним нету. Сделайте милость, сфотографируйте нас на память!

Девушке стало плохо. Парни крепче отобрали у нее аппарат и мужественно выполнили бабкину просьбу. Но даже на них зрелище произвело сильное впечатление, и вся группа поспешила уйти как можно скорее.

Ну а с другой стороны! Нет же у старушки сил, чтобы долбить кайлом мерзлую землю, а любой деревенский мужик пошлет ее подальше с такой просьбой — не человек же преставился, было бы ради чего корячиться. Вот и лежит Шарик на леднике, ждет своего часа. Ну а уж копь лежит, так отчего бы и не сняться, раз случай подвернулся? Своя жизнь, свой уклад, своя логика...

А вот другой случай, не столь мрачный, но не менее удивительный. Как-то осенью ехали мы с моим коллегой из Нильмы-губы на железнодорожную станцию Полярный Круг на его потрёпанном «Москвиче». Первые пять километров от деревни дорога испещрена огромными валунами. Между них непрерывно приходилось лавировать, и потому машина на этом участке двигалась почти со скоростью пешехода. Шел проливной дождь, не прекращавшийся уже четвертые сутки, и песок дороги между валунами слежался до плотности, мало уступавшей асфальту. Стена дождя размывала контуры обступившей дорогу тайги, создавая ощущение ирреальности и снижая видимость до десяти — пятнадцати метров, но при нашей черепашной скорости и этого было достаточно. Местность вокруг, и так-то безлюдная, в такую погоду казалась и вовсе вымершей.

И вдруг впереди из пелены дождя стала медленно вырисовываться странная человеческая фигура. Она двигалась в том же направлении, что и мы, поэтому расстояние между нами сокращалось медленно. Прошло минуты две, прежде чем мы узнали окладистую черную бороду нильмо-губского пастуха по кличке Виктор Гюго. Он степенно шел под проливным дождем в драном ватнике, засаленной кепке, но что самое удивительное — на лыжах!!! Да, я не оговорился. Он шел на широких охотничьих лыжах, грузно переступая по лужам и поднимая фонтаны брызг. Мы с коллегой протерли глаза, отказываясь верить. Но нет, странная картина не исчезла, а стала еще отчетливей.

Поравнявшись с Виктором, мы не могли не остановиться, чтобы узнать о причинах столь загадочной акции. Прежде чем ответить, Виктор попросил закурить, а затем, глубоко затянувшись, сказал:

— Да я еще по весне одолжил эти лыжи у старателей в пятнадцати километрах отсюда, чтобы сходить по майскому насту на глухарей, а сейчас старатели уезжают отсюда и просили лыжи вернуть.

— А идти то на них зачем, не зима же?! — поразились мы.

— Но я же не дурак, — буркнул Виктор, даже несколько обидевшись, — чтобы на себе их тащить.

Поблагодарив за курево и еще раз подивившись нашей недогадливости, он свернул на болото, чтобы срезать путь, и через минуту уже растаял за завесой дождя со своими лыжами и драным ватником.

Вот так-то! Ну, а об остальном в следующий раз!

*Дер. Черная Река, наш дом*

Любимая!

Пишу тебе из нашего уютного дома, выкроив несколько минут между заготовкой дров на зиму и обработкой планктонных проб.

В своем письме ты цитируешь мою последнюю фразу и спрашиваешь, кого я имею в виду, то есть кто же именно жил раньше на этих берегах... Ответить тут тем труднее, чем дальше мы отодвинем это «раньше» в глубь веков.

О тех, кто жил по берегам Белого моря до Рождества Христова, неизвестно практически ничего. От них сохранились только «бесовы следки» — петроглифы на древних карельских скалах. В первом тысячелетии нашей эры Беломорье было далекой окраиной полуполюгендарного могущественного государства Биармия, или Великая Пермь, располагавшегося на северо-востоке нынешней европейской части нашей страны. Жили тогда у Белого моря угро-финские племена, предки современных карелов. Начало второго тысячелетия было ознаменовано появлением в этих краях русских, точнее новгородцев, которые, расселившись за два-три столетия по всему побережью, стали называть себя поморами, а море, по которому они селились, — Белым.

Расселение поморов проходило, по-видимому, довольно мирно. Вся их жизнь была неразрывно связана с морем. Они селились на морских берегах, рыбачили, били морского зверя, торговали, что не ущемляло основные интересы коренных жителей, карелов, живших в основном не у самого моря, а по берегам многочисленных озер и промышлявших главным образом охотой на боровую и водоплавающую дичь, озерной и речной рыбалкой, а отчасти земледелием и скотоводством.

Поморы проявили себя отличными мореходами. Их лудьи и кучи бороздили не только Белое, но и Баренцево море, которое они, задолго до появления там Вилема Баренца, называли Студеным. Поморские мореплаватели в поисках морского зверя, прежде всего моржей, ценящихся своими бивнями, достигали берегов Шпицбергена (по-поморски Груманта) и Новой Земли, а с развитием торговли стали ходить до Скандинавии и Англии на западе и до Мангазеи, а возможно и дальше, на востоке.

Конечно, несмотря на столь явную морскую ориентацию поморов, их культура неизбежно взаимодействовала с культурой «сухопутных» карелов. Наиболее важным результатом такого взаимодействия явилось обращение карелов в православную веру. Существенную, возможно решающую, роль в этом сыграла Соловецкая обитель, основанная в середине XV века монахами Германом, Савватием и Зосимой на Соловецком острове, главном из островов Соловецкого архипелага, расположенного почти в центре Белого моря.

Соловецкий монастырь на многие века стал не только религиозным, но также культурным и экономическим центром всего Беломорья. Он быстро богател благодаря самоотверженному труду монахов и крайне выгодному расположению: остров был недосыгаем для любых возможных врагов и в то же время легко доступен для поморов с их первоклассными по тем временам морскими судами. Хозяйственная деятельность обители распространилась сперва на весь Соловецкий архипелаг, а затем и на многие другие острова, прежде всего в Онежском заливе.

В середине XIX века мощь Соловецкого монастыря подверглась серьезному испытанию. Во время Крымской войны английская эскадра совершила попытку захватить Соловки и дважды в течение многих часов вела обстрел Соловецкого кремля, на который монахи отвечали лишь непрерывной круглосуточной службой, но не в соборе, а на обстреливаемых кремлевских стенах. Эти стены многометровой толщины, сложенные послушниками из гранитных и базальтовых валунов, оказались неприступными, а воля монахов несломленной. И англичанам в конце концов пришлось уйти ни с чем. Испытание было с честью выдержано, но оказалось, к сожалению, далеко не последним.

Когда на каком-нибудь из многочисленных необитаемых островов Онежского залива натыкаешься вдруг на прекрасную дорогу, выложенную гранитными плитами, или полуразрушенный деревянный, а то и каменный скит, невольно приходит в голову аналогия с Атлантидой, погибшей от страшной геологической катастрофы. Она и была своего рода Беломорской Атлантидой, эта удивительная северная обитель. Ей в пору было гордиться своими поистине циклопическими сооружениями: дамбой из валунов с проходящей по ней дорогой между островами Соловецкий и Большая Муксалма; системой каналов, соединяющей все озера Соловецкого острова; стенами кремля, с которых я уже говорил; монастырским квасопроводом, подававшим квас в каждую келью; яблоневым садом, выращенным на 65-й широте; одной из первых в России гидроэлектростанцией, залитой в 1912 году трапезные и кельи невиданным в этих краях электрическим светом; а также многим, многим другим.

И тут произошла катастрофа!

Нет, ни земля, ни хляби небесные не разверзлись, не упал гигантский метеорит, и не извергся вулкан, коих здесь, впрочем, и не наблюдалось по меньшей мере с протерозоя. Просто в тысяче километрах южнее, в Петрограде, один высокий и

коротко стриженный демагог умудрился выпустить из рук власть, которую не замедлил подхватить другой, маленький и лысеющий. А у этого хватка была железной...

Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы уничтожить практически все, что создавалось веками. На месте Беломорской Атлантиды был создан ее уродливый антипод УСЛОН (Управление Соловецких лагерей особого назначения), опутавший колючей проволокой не только сам архипелаг, но и практически все Беломорье и сменивший кресты соборов на фанерные, крашенные суриком звезды.

Последнему «атланту» удалось каким-то чудом дожить до тридцатых годов в крошечном деревянном скиту на берегу Святого озера на острове Великом. Здесь, в Кандалакшском заливе, на самом Полярном круге, всего в каких-нибудь пятнадцати километрах от нашего чернореченского дома. Он был отшельником, поселившимся там еще в прошлом веке, причем возраст его уже тогда был весьма почтенным. Жители окрестных деревень стекались к нему помолиться вместе и поучиться у него уморазуму. И вот в один прекрасный (или ужасный?) день он бесследно исчез. Несмотря на все поиски паломников, тела найти не удалось. Поморская молва утверждает, что отшельник вознесся... Дай-то Бог!

Давно уже нет УСЛОНа, колючую проволоку съела коррозия, а полусгнившие лагерные бараки по берегам Белого моря пугают спрессованным в них ужасом разве что случайных туристов. Но поморская культура так и не смогла возродиться. И люди уезжают. Ведь культура, она как воздух, о котором вспоминаешь, только когда его не хватает. А в безвоздушном пространстве жить нельзя. Пустеют старинные поморские села, стоявшие здесь веками и не знавшие ни татарского ига, ни крепостного права. Пустеют и карельские деревни. Молодежь — внуки пропавших в лагерях дедов и дети спившихся отцов — перебирается в города и рабочие поселки, обманутая призрачными благами цивилизации и свободы. Свободы от своего прошлого.

Впрочем, «это сладкое слово свобода» в данном случае не слишком уместно. Помнишь крылатую фразу карела Ивана Антиповича Лангуева, работавшего тогда начальником рыбоприемного пункта в Подволочье? Попав однажды в Москву, а затем вернувшись сюда, на Белое море, на расспросы своих односельчан он ответил, на минуту задумавшись: «Ну что вам сказать? Свободы там, конечно, много, но ведь воли-то — нет!»

Вряд ли можно выразиться точнее и мудрее. Ведь «свобода» и «воля» отнюдь не синонимы. Свобода — это возможность делать что хочешь, идти куда хочешь, говорить что думаешь и так далее. Все это предполагает наличие главной свободы — свободы от необходимости поддерживать собственное существование. Нельзя быть свободным, постоянно думая о куске хлеба, глотке воды или крыше над головой. Но освободиться от подобных забот можно, лишь переложив их на плечи других людей или общества в целом. А это, в свою очередь, порождает зависимость от общества или конкретных его представителей. В результате зависимость в той или иной форме — оборотная сторона свободы.

Иное дело — воля, которая есть прежде всего независимость. А независимость достигается только тогда, когда человек живет, или по меньшей мере способен жить, полагаясь лишь на собственные силы. Но тем самым вольный человек взваливает на себя необходимость поддерживать собственное существование. И эта необходимость и, соответственно, несвобода есть оборотная сторона воли.

Городской человек живет в квартире, которая, даже если он ее приватизировал, принадлежит ему весьма номинально. Эту квартиру ремонтирует ДЭЗ, отапливает теплоцентраль, снабжает водой водопровод. Ее чистоту обеспечивает канализация и мусоропровод. Человеку остается только готовить пищу, да и от этого он может избавиться, питаясь в столь многочисленных ныне столовых и кафе. Он свободен, поскольку у него много свободного времени, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. И в то же время он в неволе. В неволе бесчисленных зависимостей: от того же ДЭЗа, от чиновников, от постоянного роста цен, от угрозы прорыва водопроводной или канализационной трубы и т. д. и т. д.

В поморском селе люди живут в собственных домах, которые они сами ремонтируют, сами топят, заготавливая в лесу дрова, сами таскают воду из речки, сами выносят мусор и чистят уборные. Кроме того, они в значительной степени обеспечивают себя пищей, сажая картофель, держа скот, ловя рыбу, собирая на зиму ягоды и грибы. Все это практически не оставляет свободного времени. Скука, эта частая спутница свободы, поморам не знакома. Да и не только поморам. Вспомни, много ли ты скучала за те три

года, которые мы с тобой прожили здесь. Всегда найдутся дела по дому, или в лесу, или на море. И при этом ты совершенно независим. Никто не указывает тебе, что делать, когда и в какой последовательности. Ты — вольный человек, хотя тесный круг многочисленных обязанностей делает тебя в значительной степени несвободным.

Воля накладывает свой отпечаток на само восприятие окружающего. По-иному воспринимается пространство. Если для свободного горожанина мир — это прежде всего пространство дома (квартиры) и работы (заводы, офиса, института), а остальное время — его внешняя оболочка, куда можно делать вылазки в отпуск или на выходные, то для вольного помора, наоборот, дом есть лишь некое убежище, место для ночлега, а живет и работает он на открытом пространстве естественных ландшафтов: моря, леса, озера, болота. Совершенно иначе воспринимает вольный человек и время. Оно не расписано у него не только по часам и минутам, но даже и по дням. То, что не сделано сегодня, всегда можно доделать завтра, а то и на следующей неделе. Кроме того, одни дела удобнее делать в полную воду, другие в малую, третьи на приливе, четвертые на отливе, что-то легче сделать в солнечную погоду, что-то в ветреную и т. д. В результате время вольного человека организуется в соответствии не столько с календарем и часами, сколько с чередованием природных явлений. Летом, например, когда солнце практически не заходит, сутки поморов определяются приливно-отливным циклом, составляющим примерно двенадцать часов и к тому же смещающимся каждый день на сорок пять минут.

Да и само восприятие природы воля делает совсем иным. Человек свободный, но зависимый от очень многих вещей в обществе, в котором он живет, по отношению к природе (хотя бы к ней!) невольно чувствует себя хозяином. Либо злым, не ждущим от нее милостей, либо добрым, защищающим ее от себе подобных, но хозяином, свободным хозяином. Вольный же человек, живущий среди природы, чувствует себя в ней гостем, наряду с вольным ветром и вольными птицами. Конечно, гости тоже бывают разные, но когда человек знает, что гостить ему долго и уезжать некуда, он становится гораздо терпимей к причудам своих хозяев.

Так что мы с тобой все эти годы были вольны, а не свободны, и именно эта столь непривычная для горожанина воля делает воспоминания столь сладкими. Но как бы сладки они ни были, а надо пить чай и садиться за обработку проб, ведь завтра, а впрочем, уже сегодня, на полной воде — снова в море. Работа есть работа.

*Кривой порог*

Дорогие друзья!

Сижу у костра в Кривом пороге и жду, когда сварится уха, булькающая в котелке. Порог в данном случае — это узкое горло широкого залива, где как прилив, так и отлив вызывает особенно сильное течение. Ведь в прилив уровень воды повышается метра на полтора, и вся эта водная масса должна за шесть с небольшим часов сперва влиться в залив, а потом примерно за столько же времени вылиться из него через это узкое горлышко. Поэтому зимой морские пороги не замерзают и в самые сильные морозы, а летом на середине прилива либо отлива иной раз «не выгребешь» против течения даже на моторке. А Кривым этот порог назван потому, что данное сужение выгнуто причудливым коленом, и вода на вираже бурлит и шумит, как на заправском речном пороге.

«Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», — гласит русская пословица. Какой антропоцентризм! В своей неуемной гордыне человек, чтобы выглядеть благоразумнее хотя бы на фоне рыбы, отказывает ей в самых естественных грешках и слабостях. Да конечно же, рыба тоже себе не враг! Она тоже не дура! Да конечно же, тоже ищет, где лучше! И лучше для рыбы не там, где глубже, а там, где сытнее. А сытнее возле порога, потому что там течение носит туда-сюда жратву со всего залива. Поэтому рыбалка в Кривом пороге сродни вытаскиванию рыбы из аквариума в рыбном магазине.

Посидев часа полтора и наловив ведро мелкой беломорской трески, я высадился на Таборный островок, развел костерок и занялся ухой, коротая время до полной воды, когда можно будет войти на моторке в деревню (я имею в виду Черную Реку).

Когда я возвращаюсь в Москву, вы часто спрашиваете: «Ну как там они? Что нового? Не коснулась ли их перестройка?», имея в виду здешних местных жителей. Когда же я приезжаю сюда, эти самые жители, то есть мои соседи и односельчане, интересуются: «Ну что там они? Чего еще нового учудили?», имея в виду московское

начальство. В результате возникает некая невидимая, но всей кожей ощущаемая черта, грань, разделяющая центр и глубинку на две категории, на два образа жизни, на две системы ценностей, на «нас» и «их».

Для жителей Беломорья «они» — это не только москвичи или ленинградцы, но и любые выходцы из центра России, не говоря уже о людях другой национальности. Ни разу за все эти многие годы мне не довелось слышать от местных «мы, советские люди...» или «мы — русский (либо карельский) народ». «Мы» — это всегда те, кто живет здесь, в беломорской глубинке, и живет по законам этой глубинки.

За три года своей постоянной жизни на Белом море, сперва в карельской, а затем в русской деревне, моя жена и я хоть и не вошли совсем в это «мы», но смогли прикоснуться к нему, почувствовать его притягательную силу.

В первый год нашей жизни в деревне Нильма-губа мы с женой и четырехлетним сыном с наступлением холодов, где-то в конце октября, переезжали из продуваемой всеми ветрами школы в относительно теплый домик, служивший когда-то колхозной конторой. Я тянул по первопутку сани с нашим нехитрым скарбом, а моя самоотверженная жена на девятом месяце беременности старалась хоть как-то помочь мне, упираясь сзади. Снегу было еще совсем мало, и сани поминутно останавливались. Поэтому сильно загружать их было нельзя, и пришлось делать шесть ездов по полкилометра каждая.

Вся деревня, прикинув к окнам, оживленно (насколько это возможно для неторопливых и малоразговорчивых карелов) обсуждала происходящее: «Гляди-ка, как надсаживаются! Нелегко им, однако! Снегу бы надо побольше! Да откуда ж его возьмешь, ведь октябрь только? Октябрь-то октябрь, да ведь в школе-то им с дитем совсем холодно! Бой, бой, бой, а в животе-то еще один, ой, батюшки-светы!» Были среди них и молодые, вполне здоровые мужики. Но ни один «им», то есть нам, помочь не вышел.

Однако, когда мы, уже с тремя детьми, включая родившуюся здесь младшую дочку, переезжали в соседнюю русскую деревню Черная Река, где удалось купить дом, провожать нас вышли почти все. И везли наши пожитки уже на трех санях, запряженных лошадьми, а не нами самими.

Конечно, за полтора года, разделяющих эти два переезда и прожитых нами среди карелов, мы старались, насколько это было возможно, соблюдать или, во всяком случае, уважать все местные обычаи и традиции и в меру своих сил помогать этим людям, то делая уколы вместо отсутствующей медсестры, то ремонтируя неожиданно сломавшийся телевизор. Но, возможно, решающую роль в изменении отношения к нам сыграло появление на свет Катерины, нашей младшей дочери, которая уже семим фактом своего рождения здесь оказалась причисленной к этому могучему «мы».

Это деление на «мы» и «они» имеет, на мой взгляд, глубокие исторические корни. Не знаю, противопоставляли ли себя поморы своим предкам-новгородцам или первым московским царям, но после осады Соловецкого кремля войсками воеводы Мещерина во второй половине XVII века такое противопоставление стало неизбежным. Поводом к семилетней (!) осаде послужило возмущение соловецких иноков, которые не хотели принимать новопечатных церковных книг и стали отстаивать старую веру, не приемля реформ патриарха Никона.

Взять кремль удалось лишь благодаря предательству монаха Феокиста, показавшего государевым войскам тайный проход. Последовавшая за взятием жестокая расправа с его защитниками, почти все из которых были казнены либо разосланы по тюрьмам, оставила неизгладимый след не только в истории монастыря и Беломорья, но и в общественном сознании всех местных жителей, которые так и не приняли в душе своей никоновских нововведений.

На берегах Белого моря получили широкое распространение различные старообрядческие секты, прежде всего беспоповщина. Сообщение между беломорскими деревнями было затруднено, особенно летом (почти все дороги были зимниками), и люди поневоле привыкли обходиться без церковных иерархов, самостоятельно совершая таинства: крещение младенцев, отпевание усопших и венчание... «Они» так и не смогли вытравить из сознания народа эту «ересь».

Современные поморы и карелы не отличаются особой религиозностью, хотя старики и особенно старухи продолжают отмечать религиозные праздники. Однако при почти полном отсутствии религиозной литературы их представления о христианских догматах довольно смутные. Тем не менее они продолжают считать себя староверами



и не желают иметь ничего общего с официальной церковью. Исполнение таинств, прежде всего отпевания, а иногда и крещения, возложено на самую уважаемую и, как правило, старейшую женщину деревни.

Как-то на Страстной неделе я в разговоре с одним из карелов заметил, что в воскресенье Пасха. «Это у нас — Пасха, — был ответ. — Вы же там у себя справляете Пасху в другое время». Я не смог его переубедить. Видимо, современные православные ассоциировались у него с католиками. Ведь и те и другие — это «они».

Они, которые присылают войска для утверждения своих сомнительных религиозных нововведений, как это сделал «тишайший» Алексей Михайлович. Они, посылающие боевые корабли, которые обстреливают мирные берега, как это сделали англичане во время Крымской войны, цели которой остались для поморов далекими и чуждыми. Они, угнавшие в качестве «раскулаченных» и «врагов народа» большую часть местных мужиков, практически всех, кто умел и хотел работать, чтобы почти без остатка перемолоть их жерновами ГУЛАГа, как это в тридцатых годах сделали наши доблестные чекисты, истинные враги этого, да и не только этого, народа.

Вот какими предстают из беломорской глубинки «они», то есть мы с вами, какими они нас видят.

*Дер. Черная Река, наш дом*

Любимая!

Как же тоскливо и медленно тянутся дни без тебя! Если бы не переходы по тайге, такой знакомой, такой уютной и гостеприимной, несмотря на все болота, мошку и медвежьи следы, то и дело попадающиеся под ногами; если бы не выходы за пробами в море, невзирая на дождь, на шторм и даже на туман (самого страшного, что бывает на море); если бы не стихи, которые я пишу по вечерам под веселое потрескивание дров в нашей печке, — не знаю, как бы я пережил этот месяц разлуки. Вот один из моих «опусов»:

Мы жизнь писали на двоих,  
страницу за страницей,  
и все, чем заполняли их,  
разыгрывали в лицах.  
И наш бесхитростный роман,  
завязка без развязки,  
когда бы содержал обман,  
напоминал бы сказку.  
Но все в нем явь, а не искусство,  
от Шереметьевки зимой,  
когда еще дремало чувство,  
нас породнившее с тобой,  
и до сегодняшней разлуки —  
опять, уже в который раз,  
судьбы мозолистые руки  
безжалостно разводят нас.  
Но кончится и этот срок,  
и твой нетерпеливый пальчик  
возьмет страницы уголок,  
узнать,  
а что же будет дальше?

Это стихотворение разбудило воспоминания. Так хорошо вспоминается, когда устроишься в твоём покрытом овечьими шкурами кресле. За окном воет осенний шторм, а на плите бормочет закипающий чайник. И перед глазами встает то тихое солнечное утро, когда я впервые привез тебя на Белое море.

Встречавший нас грузовик катит по плухой проселочной дороге от станции Полярный Круг. Вокруг проплывают невысокие северные перелески, и сквозь пока еще голые ветви берёз нет-нет да и мелькнет ослепительная на солнце синева Нильмозера. Ты впервые видишь эту удивительно нежную северную природу, в которую тебе еще предстоит влюбиться и которой суждено стать родиной нашего младшего ребёнка. Впереди новая, ещё совсем неизвестная тебе жизнь. И ты ещё не знаешь, что эти годы станут, быть может, самыми счастливыми в нашей жизни.

Поначалу тебе было очень трудно. У нас не было ни дома, ни хозяйства. Все приходилось начинать с нуля. Мы жили в большом, совершенно пустом классе бывшей школы, разбив посреди пола палатку, чтобы было где спать и прятаться от комаров, тучами залетающих через выбитые окна. Ты вызвалась готовить еду для экспедиции, несмотря на то что тебя с твоей беременностью мутило порой от одного вида пищи. Но твое столь слабое в Москве здоровье резко улучшилось. Сыграл ли свою роль целебный морской воздух или это было благотворное влияние пульсирующей в тебе новой жизни, перестроившей твой организм, — не знаю. Но твердо знаю, что Белое море укрепило не только тебя, а и нашу любовь.

Мы начали строить свою жизнь, свой быт, свой уклад на пустом месте и бок о бок. Это совместное строительство, сотворчество, созидание созидало и нас самих как единое целое, не сводящееся к единству душ, единству тел и единству характеров, а вырастающее из всех них нерасторжимым социальным организмом, имя которому — семья. Из любовников мы становились супругами. Если за год перед тем, в пору нашего знакомства, мы лепили из бесконечных разговоров общее прошлое, то тогда, в наш первый год на Белом море, уже не словами, а делами мы создавали общее будущее...

Но как бы ни были сладки воспоминания, а надо пить чай и садиться за обработку проб, ведь завтра, на полной воде — снова в море. Работа есть работа.

*Баня по-черному в дер. Черная Река*

Дорогие друзья!

Сегодня суббота, а посему я топлю свою, выстроенную вдвоем с сыном, баньку и пишу вам в предбаннике это письмо. Баня по-черному, в отличие от курной избы, не рассчитана на пребывание внутри нее во время топки. Поэтому никакой особой системы вентиляции, вроде продушин под окнами, в ней не предусмотрено. Воздух входит через открытую дверь, а выходит через дыру в потолке либо в противоположной стене. Тонкой служит груда диких камней с вмонтированным в нее баком для горячей воды. Топят до тех пор, пока вода в баке не закипит (обычно на это уходит часа два), а затем угли выгребаются, баня проветривается, дверь и все остальные отверстия плотно закрываются, и она «выстаивается» (около часа). После выстаивания можно начинать париться. При этом оказывается, что копоть на стенах и полках настолько въедается в древесину, что нисколько не пачкает и позволяет спокойно растянуться на полке, оживив себя березовым веничком, в который вплетены две-три веточки можжевельника, для запаха.

Пока баня топится, оставлять ее без присмотра не рекомендуется: то дров надо подкинуть, то тягу отрегулировать, да и вообще пригляд нужен, ведь бани горят нередко. Поэтому приходится сидеть в предбаннике, а время от времени вбегать в плотную дымную пелену и, рухнув на пол, где еще можно как-то дышать, осматривать стены и потолок — не затлела ли где конопатка — или подбрасывать очередную закладку дров. И вот я дежурю в предбаннике, коротая время над этими страницами.

В своем предыдущем письме вы спрашиваете о взаимоотношениях карелов и русских. Одним словом тут не ответишь. Несмотря на то что, противопоставляя себя центру, карелы и русские чувствуют свою общность, внутри этой общности национальные различия прослеживаются вполне четко.

Карелы не селятся в поморских селах, русские — в карельских. Смешанные браки бывают, но скорее как исключение. Русским языком карелы владеют свободно, но между собой говорят на карельском, являющемся одним из диалектов финского. Бывает, что карелы посмеиваются на безалаберность русских, а русские — над скупостью карелов, которую те предпочитают называть бережливостью.

Впрочем, все эти различия не носят антагонистического характера. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за многие сотни лет совместного проживания в одном регионе ни у русских, ни у карел не появилось в слове обидных или даже насмешливых кличек друг для друга, вроде «хохлов» и «кацапов» у русских и украинцев. За все те годы, что я прожил на Белом море, мне ни разу не довелось услышать даже от самых пылых местных жителей выражений типа «Ну ты, русский хрен!» или «Карельская морда!». Ни одно ругательство, употребляемое русскими или карелами, при всей их цветистости, никогда не носило какого бы то ни было национального оттенка.

Русские поморы заимствовали некоторые карельские слова. Например, слово «куйпога», обозначающее в прямом смысле самый полный отлив, то есть малую воду на море, а в переносном — отсутствие водки в магазине. Карелы, в свою очередь,

заимствовали большое количество русских слов. Но в то же время в общении между собой они пользуются только своим языком и обучают ему своих детей, несмотря на отмену преподавания этого языка в школе после упразднения Карело-Финской ССР.

Карелы значительно опрятнее русских, и тем не менее они охотно посещают, а при необходимости и ночуют в русских избах и, в свою очередь, принимают русских у себя. Вообще, гостеприимство — отличительная черта всех северян, независимо от национальности. Впрочем, различия в опрятности можно отчасти объяснить тем, что все мало-мальски приличные русские хозяева стали жертвами раскулачивания и репрессий тридцатых годов. Карелы же, во всяком случае в тех местах, где я жил, пострадали значительно меньше. Кроме того, после снятия и последующего расстрела Ежова дела многих карелов были пересмотрены, и они смогли вернуться домой. Из русских же, насколько мне известно, в те годы не вернулся никто.

Отчасти этим, а отчасти разницей в темпераменте объясняется и различное отношение русских и карелов к официальной идеологии. Среди русских есть люди ненавидящие ее. Одна красивая женщина лет сорока, семья которой в деревне Черная Река была полностью уничтожена в тридцать седьмом году и которая выросла на руках удалых родственников, говорила мне, малознакомому человеку: «Единственное, что доставило бы мне настоящее наслаждение, — это выстроить у одной стенки всех чекистов и коммунистов и бить, бить, бить по ним из автомата, и смотреть, как они один за другим корчатся и падают, и блюют кровью в пожухлую траву!» Ноздри ее при этих словах раздувались, а глаза белели от бешенства. До тех пор я считал, что подобная ненависть возможна лишь в дешевой пропагандистской кинопродукции про «кулацких недобитков».

Отношение карелов к коммунистической идеологии и к власти придерживающимся значительно более спокойное. Они воспринимают все это как еще одно неизбежное зло, которое исходит «оттуда», от «них». Среди карелов, как, впрочем, и русских, есть и коммунисты, и «стукачи». Но это не столько принятие чужой идеологии, сколько попытка с нею сосуществовать, а при возможности и использовать. Да и как можно принять идеологию, разрушившую столь дорогое тебе прошлое.

Еще десять — пятнадцать лет назад в беломорских деревнях можно было встретить стариков, хорошо помнящих свое дореволюционное прошлое. Хозяином здешних мест в южной части Кандалакшского залива Белого моря был тогда лесопромышленник Савин. Он заготавливал деловую древесину и отправлял ее морем в Англию. Ведь согласно договору, заключенному еще в конце XVI века, Англия получила исключительное право вести торговлю с Россией на Белом море.

Многие из местных жителей работали на Савина, кто на лесоповале, кто на сплаве, кто на лесозаводе. Железной дороги, связывающей Беломорье с Центральной Россией, еще не существовало, так что для снабжения своих работников и вообще местного населения Савин обратными рейсами привозил из Великобритании все необходимое для продажи в магазинах Керети, где он жил, и в окрестных деревнях. Поэтому все товары, раскупаемые поморами и карелами, начиная от одежды и обуви и кончая охотничьим оружием и рыбацкими снастями, были, как теперь говорят, на уровне мировых стандартов.

После прихода новой власти и провала попытки английской интервенции связь с Великобританией прекратилась, и вместо бойких английских купцов на беломорских берегах появились зеки Соловецких лагерей особого назначения, уже не умежавшихся на самом Соловецком архипелаге. Излишне говорить, что жизнь от этого лучше не стала. В итоге как русские, так и карелы стали жить не столько мечтами о будущем, сколько воспоминаниями о прошлом. И они стремились сохранить хотя бы частицы этого прошлого, сопротивляясь по мере сил любым нововведениям, как политическим, так и экономическим, которые несли им только новое горе и новое разорение. Многие из них пришлось расплатиться за свое упорство по самым высоким ставкам. И все-таки время остановилось на этой властью и Богом забытой окраине, где никогда не правили ни татары, ни поляки, ни шведы, ни немцы.

В старинном поморском селе Ковда мне рассказали легенду, которая, впрочем, вполне может быть и правдой. Во время Крымской войны, когда английские корабли вошли в Белое море и даже вели длительный (правда, безуспешный) обстрел Соловецкого кремля, небольшой отряд англичан высадился в деревне Ковде, что в Кандалакшском заливе, верст на тридцать севернее Черной Реки. Не обнаружив там никого, с кем можно было бы вести боевые действия, англичане сняли

с колокольни местной деревянной церквушки старинный колокол и в качестве трофея увезли его в Лондон.

В 1956 году в связи со столетием окончания Крымской войны правительство Великобритании в качестве жеста доброй воли решило вернуть трофейный колокол. Однако поставили условие: в Ковду должна прибыть английская делегация, с тем чтобы водрузить трофей на его исконное место.

Предложение англичан вызвало в нашем МИДе целый переполох. В Ковду были срочно посланы его представители, чтобы изучить ситуацию на месте. Их глазам открылась безрадостная картина: церковь была давно закрыта и находилась в плачевном состоянии, большинство деревянных изб выглядело не лучше. Все было примерно так же, как и сто лет назад, только запущено и убого. Поэтому в МИДе решили, что приезд англичан был бы нежелателен, и под каким-то благовидным предлогом (кажется, из-за очередной войны на Ближнем Востоке) отказались от передачи колокола.

Но время остановить нельзя. Уцелевшие после репрессий старики постепенно уходят один за другим, а для новых поколений прошлое уже утрачивает черты реальности. С развитием радиорелейных линий в деревнях появились телевизоры, показывающие совсем другую жизнь, жизнь городов и даже рабочих поселков, расположенных порой всего лишь в нескольких десятках километров отсюда. И молодежь стала уезжать...

Пустеют деревни, уходит прошлое. Но на смену ему приходит не настоящее и уж тем более не будущее, а небытие.

Такие дела! — как говаривали герои Курта Воннегута.

*Избушка в бухте Биофильтров*

Любимая!

Зашёл на Биофильтры переждать сильный пивень с грозой. Помнишь эту бухту с южной стороны Киндо-мыса, которую назвал так академик Зенкевич, основатель Беломорской биостанции МГУ? А поводом для названия явилась происходящая там интенсивная биофильтрация (процеживание моллюсками мидиями и рачками балеянами морской воды в поисках пищи), обеспечивающая исключительную, даже по беломорским, весьма высоким стандартам, чистоту воды. И пишу я это письмо в поморской промысловой избушке, расположенной в глубине этой губы.

В прошлом письме я упоминал о «чувстве гостя», которое отличает отношение к природе вольного человека. А знаешь, что лучше всего характеризует помора как гостя? Нет?

Как раз такие избушки Севера, в одной из которых я сейчас нахожусь. Там и сям по берегам Белого моря доживают они свой век, срубленные неизвестными охотниками и рыбаками. Поморы называют их юриками. В них никто не живет и никогда не жил. Но любой путник может там заночевать и даже пожить, если рыбалка, охота или другая какая надобность приведет его в эти края.

Вот как я только что, мокрый до нитки от перелестывавших через борт волн и замерзший на пронизывающем ветру, ввалился в эту избушку, падая от усталости, и нашел у печки аккуратно сложенную поленницу сухих дров, а на самой печке — коробок спичек, который в данных обстоятельствах дороже денег, дороже пищи, дороже всего. Эта давняя поморская традиция — оставлять дрова, спички и соль тому, кто придет после тебя. Конечно, обсушившись и отдохнув, я восполню запас дров, согревающий меня сейчас.

Такая забота о тебе неизвестного человека создает удивительное «чувство дома» в этой в общем-то мрачной, грязноватой и довольно убогой избушке. Лет десять назад я попытался передать это чувство в стихотворении, которое так и называлось: «Избушки Севера». Помнишь?

Когда, затравленный мольбой,  
принципиальностью дружб,  
горячей женскою мольбой  
и вечной каторжностью служб,  
ты ясно понимаешь вдруг,  
что дом, в котором ты живешь,  
и мир, раскинутый вокруг, —  
кому-то выгодная ложь;

а значит, нету у тебя  
Отчизны, дома и друзей,  
всего, что ты хранил, любя,  
на самом дне души своей;  
когда в сознание зреет месть,  
и ночью дышится с трудом,  
ты знай,  
что все-таки он есть,  
тебе принадлежащий дом.

Он не в Москве и не в Крыму —  
форпосты северных морей  
оберегают путь к нему  
от злых и мелочных людей,  
но если ты туда придешь,  
чтобы вступить в свои права,  
ты обязательно найдешь  
там соль, и спички, и дрова;  
и ты поймешь — здесь ждут тебя,  
здесь все — протянутая горсть,  
которую раскрыл, любя;  
твой неизвестный добрый гость.

Печурку быстро растопив,  
на нары можешь ты прилечь  
и долго слушать, как отлив  
сползает с беломорских плеч;  
и станет тихо и тепло,  
по телу растечет свинец,  
и звякнет старое стекло:  
«Ты дома, дома наконец!»  
Пускай здесь не на что присесть,  
пускай паркета нету в нем,  
но все-таки  
на свете есть  
тебе  
прилежащий дом!

Конечно, это ощущение горожанина. Поморы и карелы, ставившие такие избушки, чувствуют несколько иначе. Юрика рубилась не только для себя, но для всех, и потому она изначально лишена хозяина. Каждый в ней только гость, а роль хозяйки играет как бы сама юрика. И восстанавливая запас дров, спичек, соли, а то и оставляя банку консервов, охотник или рыбак просто возвращает ей долг, платит за ее гостеприимство.

Так же благодарно издревле относились местные жители и к хозяйке-природе. Она давала им, гостям, все необходимое для жизни, а они берегли ее, не беря сверх необходимого, не оскорбляя ее бездушным отношением и поддерживая тем самым экологическое равновесие в море и на берегу. Старики еще хранят эти традиции, но передавать их некому — молодежь уезжает в поисках свободы. Воля слишком обременительна для юных плеч и плохо вписывается в лозунги современности.

Впрочем, этот отток, к счастью, не породил пока встречного притока: на берегах Белого моря почти не строятся промышленные предприятия или животноводческие комплексы. Исключение составляют несколько городов, такие, как Архангельск, Северодвинск, Кандалакша, Кемь. Но их воздействие на море пока лишь локальное и не затрагивает его открытую часть. Поэтому Белое море — одно из наиболее чистых внутренних морей в мире.

Дорогие друзья!

Пишу вам на этот раз, примостившись в кубрике МРБ (малого рыболовного бота), принадлежащего нашей биологической экспедиции МГУ и названного так ее руководителем, профессором В. Д. Федоровым в честь великого английского писателя. Обычно мне приходится стоять за штурвалом самому, но сейчас, поскольку я уезжаю в Москву,

Борт МРБ «Джонатан Свифт»

на мостике Леша Титов, наш механик, обучавший меня не только обращению с двадцатисильным дизелем, но и знанию местных фарватеров. Это дает мне редкую возможность черкнуть вам страничку-другую. Конечно, я попаду в столицу раньше своего письма, но боюсь, что нахлынувшие там дела не дадут мне возможности сразу же встретиться с вами.

Когда наступает пора уезжать с Белого моря, у меня всегда портится настроение. Трудно сказать почему. Вроде и жизнь в столице полегче, вы рядом, и кино, театры, музеи и библиотеки в избытке. А там ничего этого нет. Есть, правда, природа, все еще дикая, почти не тронутая человеком. Но и природа хоть и дикая, но не ахти какая богатая. Как говорят местные жители, «выбирай чего охота — то скала, а то болото». Да чахлый (по подмосковным понятиям) лес по краю болот и на вершинах скал.

Редкие деревушки тоже не радуют глаз: серые покосившиеся избы с латаными-перелатаными крышами притулились по морским берегам, как московские старички на бульварных скамейках. А в довершение ко всему еще и погода. Полевой сезон заканчивается в конце сентября, когда обычно бушуют равноденственные шторма и с моря одна за другой мчатся рваные тучи, несущие то морось, то настоящий дождь, а то и снежный заряд.

И все-таки в Москву не хочется. Может быть, потому, что тебя там вновь начнут оценивать сразу по многим и подчас довольно странным критериям. Например, по кругу, к которому ты принадлежишь, по твоей образованности, по твоему заработку, твоим степеням и званиям, по могуществу твоих покровителей и чуть ли не в последнюю очередь по тому, что ты, ты сам собой представляешь. Здесь же, на Белом море, где почта не приходит неделями, а приезд милиционера событие еще более удивительное и редкое, чем солнечное затмение, человек ценится ровно настолько, насколько он чего-то стоит. Не больше, но и не меньше.

Как-то этим летом мне довелось отвезти на «Джонатане Свифте» к московскому поезду навестившего Федорова академика Александра Сергеевича Спирина, одного из крупнейших наших биохимиков. По пути мы зашли за почтой на Беломорскую биостанцию МГУ. Там работал истопником Валька Сметанин, человек, входящий по формальным признакам не то что на нижних ступенях социальной лестницы, а в той ее части, где ступеней нет вообще за ненадобностью, ибо там понимание нормального человека уже бессильно расставить какие-либо оценки. У Вальки не было своего жилья, хотя родом он из этих мест, не было у него и сколько-нибудь постоянной работы. По милицейской терминологии Вальку с полным основанием можно было назвать «бомжем», на Севере же таких людей обычно называют бичами. Одет он был в свой неизменный ватник, неопределенного цвета штаны, покрытые многочисленными заплатами, и казенные резиновые сапоги. На голове его обычно красовалась засаленная ушанка, одно ухо которой непонятным образом торчало вверх, а другое понуро свисало, как у побитой собаки.

Наш МРБ уже отшвартовался, когда торчащее ухо Валькиной ушанки замаячило на пирсе. Подойдя ближе, он узнал Спирина, с которым несколько раз то ли рыбачил, то ли охотился на рябчиков или уток. С криком: «Сашка, погоди!» — Сметанин легко перемахнул ту пару метров, которую к тому моменту уже отделяли палубу «Свифта» от пирса, и очутился на борту. В результате всю оставшуюся дорогу академик и бич, люди, разнесенные по социальной иерархии так далеко, что дальше вроде и некуда, просидели в кормовой каюте «Джонатана Свифта», вспоминая все, что их связывало, то есть в общем-то этот русско-карельский Север с его дождями, болотами и комарами.

Хочу особо подчеркнуть, что со стороны академика Спирина это не было каким-то вымученным жестом или «причудой гения». Я тоже неплохо знаю Вальку Сметанина, темными сентябрьскими ночами лучил с ним камбалу с факелом и острогой, а короткими и серыми ноябрьскими днями пил спирт, пережидая на море непогоду, и могу засвидетельствовать, что мало встречал в своей жизни людей столь же добрых, бескорыстных и отзывчивых, как он. И эти качества оказались для академика намного важнее формальных и внешних признаков. Причем для Севера подобное предпочтение вполне естественно и не вызывает даже законного, казалось бы, удивления.

Вот эта постоянная необходимость представлять из себя что-то, быть чем-то и в то же время отсутствие необходимости чем-то казаться так привлекают на Белое море одних людей и так отпугивают других.

Как же не хочется уезжать с Белого моря!  
Как же хочется туда возвращаться!

### **Вместо заключения**

Последние несколько лет я не писал уже письма с Белого моря. Отчасти из-за того, что ездить туда удавалось лишь ненадолго, отчасти потому, что жена и друзья почти всегда ездили вместе со мной.

За все эти годы произошло немало событий, как грустных, так и всепьяющих надежду. И с моей стороны было бы нечестным утаить их от тебя, читатель этих почти бессвязных замет.

Сперва о грустном.

Нэт уже на свете ни Лёши Титова, ни Вальки Сметанина. Да будет им земля пухом!

Наш дом в Черной Реке сгорел, и пришлось переделать под жилье ту срубленную мною с сыном баню, о которой говорилось в одном из писем. Тесно, правда, но крыша над головой есть, да и приятно от сознания того, что живешь в доме, выстроенном собственными руками.

Пропасть между Москвой и Беломорьем, между «нами» и «ними» увеличилась, а в последнее время расплзается прямо на глаза. Особенно громко аукнулись события октября 1993 года. «Уж если они даже в Москве порядка навести не могут кроме как танками, как же страной-то взялись управлять?! И как же совести хватает другим указывать, как им жить?» Так говорили поморы прошлым летом. Ну а теперь чеченская авантюра сняла уже все вопросы о том как «мы» умеем управлять и на что у «нас» хватает совести.

Когда выйдешь белой ночью к одному из бесчисленных беломорских болот и примостишься на коряге докурить заначенный чинарик, кажется, будто все вокруг тебя застыло, заколдованное каким-то злым волшебником. Но вдруг у самой середины болота на небольшом кусочке не затянутой еще дерновиной воды забурлят, забулькают поднышавшие со дна пузырьки. И понимаешь с удивлением, что там, в болотной хляби, протекают какие-то таинственные и недоступные для глаза процессы.

Так и в старинных поморских деревнях идет какое-то пока неведомое нам внутреннее брожение. Ведь благодаря усилиям ковдинцев (как местных, так и в еще большей степени живущих там москвичей), выступивших единым фронтом, уже несколько лет идет реставрация той ковдинской церкви, которую не решились в свое время показать англичанам. А на холме над Черной Рекой приехавшим из Москвы фермером Пашей Шелковым на месте будущей часовни установлен и освящен огромный крест.

Да и вообще вымиравшие еще недавно деревни все чаще оглашаются стуком топоров и визгом пил. Молодежь не то чтобы возвращается из городов и поселков, хотя и появилось несколько фермеров из местных, а отстраивается для того, чтобы проводить здесь отпуск, а то и выходные, сажать картошку, ловить рыбу, собирать ягоду и грибы. Зарплата сегодня есть, завтра нет, а со своим хозяйством никогда с голоду не помрешь, рассуждает новое поколение. Здесь оно выбирает не «пепси», а брусничную воду из своего погреба, картошку со своего огорода, а то и барана из своей хлевушки.

И еще одно. Здесь ни в электричках, ни в городах и поселках, ни на станциях и вокзалах, нигде я не видел ни одного нищего. Все рассчитывают только на себя, на своих близких, на море и тайгу, которые и накормят, и напоят, и под открытым небом не оставят. Более пятидесяти лет назад Осип Мандельштам написал: «Мы живем, под собою не чуя страны...» Современные поморы и карелы живут, не чуя страны над собою.

Да разве только они?!